

СКАЗАТЬ — НЕ СКАЗАТЬ...



СКАЗАТЬ — НЕ СКАЗАТЬ...

Артамонова поступила в училище легко, с первого раза. На вступительном экзамене играла Чайковского, Шопена и что-то для техники, сейчас уже забыла что. Кажется, прелюд Скрябина.

Киреев поступал вместе с ней, но провалился. Получил тройку по сочинению, недобрал один балл. У него случились две орфографические ошибки и пять лишних запятых. Киреев обладал абсолютным музыкальным слухом, но пять запятых оказались важнее.

В последний день вывесили списки принятых. Киреева не было в списке, значит — откинут, отбракован, как нестандартный помидор. Он стоял чуть в стороне и смотрел перед собой куда-то вдаль. Артамонова хотела подойти к нему и сказать, что он самый способный из всех. Но постеснялась. Он мог принять сочувствие за унижительную жалость и обидеться.

Когда сдавали, приходили на экзамены — держались общим табунком, болели друг за друга. А сейчас разделились на две несмешивающиеся части: везунки и неудачники. Принятые смотрели на непринятых, как живые на покойников: немножко с ужасом, немножко с любопытством и с неосознанной радостью — вы ТАМ, а мы ТУТ.

Пятнадцать везунков во главе с энергичной Лындиной отправились праздновать победу в ближайшее кафе. Артамонова пошла вместе со всеми, сдала свои пять рублей, но душой не присоединилась. Она чувствовала свою вину перед Киреевым, как будто заняла его место. Там же, в кафе, решила позвонить Кирееву, но всезнающая Лындина сказала, что у него нет телефона. Киреев жил на территории монастыря в бывшей трапезной. Это двухэтажное строение считалось среднеисторической постройкой, находилось под охраной государства, поддерживалось в первоизданном виде. Телефона в нем не полагалось, поскольку среднеисторические монахи не перезванивались с внешним миром, на то они и монахи.

Просто взять и поехать в трапезную без предупреждения Артамонова не решилась, хоть и была слегка пьяна и благодородные чувства стояли у горла.

Осенью группа собралась для начала занятий. Киреев оказался в группе. Было очевидно: сунули по благу. Кто-то расстарался, спустили еще одно место — специально для Киреева.

Артамонова обрадовалась, а группа ханжески нахохлилась. Музыка — БОГ. Училище — ХРАМ. И вдруг — благ. Какие контрасты. Кирееву в глаза ничего не говорили, но как-то брезгливо сторонились, будто он негр, вошедший в вагон для белых. Киреев делал вид, что не замечает. Но Артамонова видела: замечает. И страдает. И почему эта курица Лындина — крючкотворка и интеллектуалка, как все бездари, — учится по праву, а Киреев — не по праву? Или, скажем, Усманову прислала республика, она прошла вне конкурса. Республике нужен национальный кадр. А если Киреев не кадр — он что, хуже? Почему по благу республики можно, а по индивидуальному благу — нельзя?

Артамонова принципиально села рядом с Киреевым в аудитории. Занимала ему очередь в буфете. Брала сосиски и коржики. А когда начались зачеты — предоставила Кирееву свои конспекты. Киреев сказал, что не понимает ее почерка. Артамонова согласилась читать ему вслух.

Сидели у Артамоновой на кухне, грызли черные соленые сухарики. Мама Артамоновой пережила ребенком блокаду и никогда не выбрасывала хлеб. Резала его соломкой и сушила в духовке. Эти сухарики были неотвязными, как семечки.

В середине дня жарили картошку. Киреев сам вызвался чистить и делал это так, будто всю жизнь только этим и занимался. Ровный, равномерный серпантин кожуры не прерывался. Картошка из-под его рук выходила гладкой, как яйцо. Артамонова заподозрила: когда человек одарен, он одарен во всем. Картошку жарили с луком, болгарским зеленым перцем и колбасой. Сверху заливали яйцом. Киреев называл это «крестьянский завтрак». Такое сочетание продуктов и слов казалось Артамоновой талантливым, почти гениальным.

На кухонной полке стоял керамический козел: туловище из глиняных бежевых витков, как бы шерсть, а рога — темно-коричневые, блестящие, будто облитые лаком.

Киреев ел крестьянский завтрак, глядя перед собой отсутствующим взором. Свет окна падал на его лицо. Артамонова вдруг с удив-

лением заметила, что его темно-коричневые глаза не вбирают в себя свет, а отсвечивают, как керамика.

— Ой! — сказала Артамонова. — У тебя глаза — как у козла рога.

Киреев ничего не ответил. А что тут скажешь... Он даже не понял: хорошо это или плохо, когда как у козла рога. Потом Киреев курил и слушал конспекты по научному коммунизму и не понимал, чем конкуренция отличается от соцсоревнования и почему конкуренция плохо, а соцсоревнование хорошо. Похоже, этого не понимал и автор научного коммунизма.

Однообразный голос Артамоновой убаюкивал, и, чтобы стряхнуть с себя сонную одурь, Киреев садился играть. Его любимые композиторы были: Шостакович, Прокофьев; Чайковский для Киреева был слишком наивен. Артамонова признавала именно Чайковского, а звучание Прокофьева для нее — как железом по стеклу. Но она стеснялась возражать, самоотверженно слушала.

У Киреева были сильные пальцы. Артамонова сидела как под обстрелом. Под такую музыку хорошо сходить с ума. Но постепенно эта несообразность во что-то выстраивалась. Вырастала. Во что? Наверное, в двадцатый век.

От хорошей музыки в человеке поднимается человеческое. Жизнь задавливает человеческое, а музыка достает.

Артамонова могла так сидеть и слушать. И покрываться пылью времени. Но приходила из больницы мама. Она работала медсестрой в реанимации, каждый день вытаскивала кого-нибудь с того света. И очень уставала, потому что тот свет засасывает, как вакуум. И надо очень напрягаться, чтобы не пустить туда.

Киреев собирался домой. Артамонова его провожала. Он застегивал пуговицы, но мысленно был уже где-то в другом месте. Он умел вот так, уходить — не уходя.

После его ухода Артамонова ставила пластинку под иглу, бросалась на кровать и смотрела в потолок. Наивная музыка ее обнимала, кружила, обещала. Она плыла, плыла... Улыбалась, не улыбалась — летела куда-то лицом, худеньким телом, жидкими волосиками, собранными в пучок, как у балерины, большими глазами под большими очками.

Как хорош был Чайковский. Как хороши стены родного дома. Как хороша жизнь!

Артамонова влюбилась.

Сейчас уже трудно было определить точность момента, когда это произошло: когда Киреев не поступил и стоял в стороне, отбрако-

ванный... или осенью, когда впервые появился в группе... либо на кухне, когда увидела его мрачные глаза... А в общем, какое это имеет значение. Важно то, что пришла любовь.

Сначала шел инкубационный период, она не знала, что влюбилась, просто появилась потребность о нем думать и вслух проговаривать свои думы.

При этом Артамонова знала и все знали, что Киреев женат на какой-то Руфине. Он женился, когда ему было двадцать, а Руфине тридцать. Она была невысказанной красоты, Киреев сошел с ума и отбил ее у большого человека — генерала или министра. И Руфина ушла из пятикомнатной квартиры в трапезную. Ушла на чистую любовь. Первый год они не вылезали из постели и было все равно, где эта постель — в подвале или во дворце. Потом началась жизнь и Руфина увидела разницу: где стоит постель и обеденный стол и что на столе.

Киреев подрабатывал на танцплощадках и на свадьбах. Со свадеб приносил Руфине вкусенького, денежки в конверте и чувство вины, которое не проходило. Роли распределились четко: Руфина — недовольна, Киреев — виноват. Может быть, именно в свою вину проваливался Киреев, когда стоял с отсутствующим лицом, глядя в никуда.

Артамонова все знала, но это знание не меняло дела. Все равно: каждый вдох — Киреев, и каждый выдох — Киреев. И болит под ложечкой, потому что там, в этой точке, — душа.

Артамонова не могла ни думать, ни говорить ни о чем другом и в конце концов стала неинтересным собеседником. Невозможно общаться с человеком одной темы. Это общение похоже на заевшую на пластинке иглу.

Усманова, ставшая близкой подругой, угорала от Киреева, от того, как он молчит, как курит, как чистит картошку, какая у него неглаженная рубашка, из чего следует: какая Руфина шкура и какой Киреев несчастный.

Однажды подруги прошли пешком по Бульварному кольцу до улицы Горького, остановились возле подземного перехода. Апрельское солнце пекло прямо в лицо. Но это не солнце — это Киреев.

Усманова добросовестно внимала подруге, потом заметила:

— Ты слишком много говоришь о себе. Чем меньше о тебе знают, тем лучше для тебя.

— Почему? — искренне удивилась Артамонова.

Есть понятие: поговорить по душам. Человек выворачивает душу, как карман, выкидывает что лишнее, наводит порядок. И можно

жить дальше. У них в доме, в соседнем подъезде, проживал дипломат. Он всю жизнь был набит тайнами и секретами от макушки до белого воротничка. И под старость лет сошел с ума, заперся на даче, ни с кем не разговаривал. Боялся выболтать секрет.

Если не общаться — сойдешь с ума. Жизнь — это общение. А общение — это искренность.

Усманова, тайно верующая в Аллаха, считала иначе. Жизнь — это своего рода игра. Как в карты. Игрок держит свои карты у лица, чтобы не подглядывали. Иначе проиграешь. А Артамонова — весь свой расклад на стол.

— Видишь? — Усманова подняла со лба челку.

Артамонова ничего не увидела. Лоб Усмановой был девически чист, и вообще она походила на прехорошенькую японку с календарей.

— Ничего не вижу, — сказала Артамонова.

— Рога.

Артамонова пригляделась. Форма лба была выпуклой по бокам.

— Пока не скажу — не заметишь. А скажу — сразу видно.

Усманова сбросила челку на лоб. Артамонова внутренне согласилась. Усманова стояла прежней прехорошенькой японкой, трогательной, как сувенирная кукла. Но рога на лбу вошли в сознание. Кукла, но с рогами.

— Поняла? — уточнила Усманова.

— Про рога?

— Про Киреева. Если не можешь терпеть — скажи ему одному. И успокойся.

Сказать — не сказать... Артамонова размышляла весь апрель и май.

СКАЗАТЬ. А если ему это не понадобится? Он отшутится, типа: «Напрасны ваши совершенства: их вовсе недостоин я». И еще добавит: «Учитесь властвовать собою; не всякий вас, как я, поймет».

Артамонова боялась унижения. Когда-то в детстве у нее недолгое время был отчим. Он не бил ее, но замахивался. Она втягивала голову в плечи, мерцала ресницами, и вот этот ужас — ожидания удара — остался на всю жизнь. Боязнь унижения переросла в комплекс гордости.

Любовь выше комплекса. А если все же сказать? Он ответит: «Я люблю другую женщину». После этого уже нельзя будет, как раньше, занимать очередь в буфете, вместе есть серые институтские сосис-

ки и пить мутный бежевый кофе. Вместе идти до библиотеки Ленина и ехать на эскалаторе, глядя на него снизу вверх, вбирая его лицо все вместе и каждую черточку в отдельности, и все линии и структуры, строящие его лицо.

НЕ НАДО ГОВОРИТЬ. Не надо раскрывать карты. А может быть, все же СКАЗАТЬ... Он согласится частично. Она станет его любовницей, он будет поглядывать на часы. Мужчина, который спешит. Его чувство вины перед Руфиной станет еще глубже. Эта двойственность не прибавит ему счастья.

Все, в конце концов, в жизни Киреева происходило для Руфины. После училища он хотел поступить в Гнесинский институт, оттуда завоевать мир — непонятно как, но понятно, что для нее. И Артамонова с ее обожанием в конечном счете существовала для Руфины. Обожание было заметно, это возвышало Киреева в собственных глазах, давало ему веру в себя. А уверенный в себе человек может добиться несравненно большего.

Когда совершалась первая в мире социалистическая революция, никто не знал наверняка — как ее делать и что будет потом. Вождь пролетариата сказал: «Надо ввязаться, а там посмотрим».

Может быть, так и в любви. Не просчитывать заранее. Ввязаться, а там будет видно.

А что будет видно? Либо единомоментное мощное унижение. Либо краденое счастье, что тоже унижение, протянутое во времени — постепенно, по кусочкам.

Лучше НЕ ГОВОРИТЬ. Все оставить как есть. Точка. Артамонова загнала любовь в сундук своей души, заперла на ключ. А ключ отдала подруге Усмановой. Усманова умела хранить чужие тайны. Так и стоял под ложечкой сундук, загромождая душу и тело, корябая тяжелыми углами. Больше ничего в Артамонову не вмещалось. Она ходила и качалась от тяжести.

— Ты чего смурная? — заметил Киреев.

— Ничего, — ответила Артамонова. — Коленки болят. Ревматизм.

Летом они с мамой уехали на дачу. Маму позвала к себе подруга, одинокая медсестра Люся. Люсиного сына забрали в армию. Люся тосковала, дача пустовала. Сдавать чужим людям она не хотела, сердце просило близких людей.

Дача оказалась деревянной развалюхой, но уютная внутри и соответствовала разваленному состоянию души. Артамонова чувство-

вала, что у стен дома и у стенок ее сердца — одно направление силовых линий, одинаковое биополе.

Рядом с развалюхой, через забор, стоял белокаменный дворец. Там жил генерал в отставке. Он разводил павлинов, зачем — непонятно. Павлины ведь не куры, варить их с лапшой вроде неудобно. Как-никак жар-птицы. Эти павлины жили в загончике и время от времени вскрикивали — с такой тоской, будто хотели донести до людей свою непереносимость. Крики взрезали воздух.

Артамонова страдала, и ей казалось: мир вокруг наполнен страданием. Простучит ли электричка — звук тревожен. Это дорога от счастья — в никуда. Засмеялась ли Люся... Это смех боли.

Однажды шла по лесу, ни о чем не думала. Просто дышала: вдох — Киреев, выдох — Киреев. Солнце пекло в голову, забыла панамку. И вдруг — что-то лопнуло в мозгу, излилась мелодия, похожая на крик павлинов, — одна музыкальная фраза в два такта.

Артамонова пошла домой. Но пока шла — забыла мелодию. Ночью она ей приснилась — четкая, законченная, как музыкальный вздох. Утром Артамонова записала ее в нотную тетрадь.

На даче была полка с книгами. Артамонова нашла сборник стихов, тоже развалюху — оторвана обложка, выпадали листы.

Артамоновой попались такие строчки: «Не добычею, не наградою, была находкой простою. Оттого никогда не радую, потому ничего не стою». Вот Руфина — была и добычею, и наградою.

Неподалеку от дачи размещался профсоюзный санаторий. Артамонова ходила в санаторий и играла в актовом зале, когда там никого не было. Пианино было новое, клавиши безупречно-пластмассовые, как искусственные зубы. Звучание плоское. Но — не расстроено, и то хорошо. Артамонова тыркала в клавиши, соединяла музыку со стихом. Позже, когда «Павлиний крик» приняли на радио, а потом запели по стране, Артамонова догадалась: если бы Киреев ее любил, если бы была счастлива — не услышала бы павлинов. Ну кричат и кричат. Может, от радости. И мозги не лопались бы в мелодию. От разделенной любви рождаются дети. От неразделенной — песни.

В актовый зал заглядывали отдыхающие. Сиделись, слушали. Артамонова играла Чайковского. Играла подолгу, и никто не уходил.

Артамонова знала: у Петра Ильича были какие-то сложности на ниве личной жизни. Только не знающий любви человек мог создавать такие великие мелодии. Мечта о любви выше самой любви. И страдания — более плодотворная нива. Ничего великого не создавалось сытым человеком.

Весь август шел дождь, сеяла мга как сквозь сито. А сентябрь установился солнечный, ласковый. В саду поспели яблоки.

Люся уговорила остаться еще на месяц. От крыльца развалюхи до крыльца училища — час пятнадцать. Ничего особенного. Даже хорошо. В электричке хорошо сочиняется. Жизнь стала наполненной звуками. Любовь к Кирееву озвучила ее жизнь, а он и не знал. Явился в училище — такой же, как был, только еще красивее и еще недоступнее. Принц Гамлет. Летом ездил в Сочи. Играл в ресторанах. Забывал деньги. Ну что ж, красивая женщина дорого стоит.

Артамонова хотела похвастаться про песню, но не смогла найти удобного момента в разговоре. А просто так, без момента, ни с того ни с сего... С ним было не просто, не запросто. Почему не могла сказать про песню? А ему неинтересно. Все, что происходит с Артамоновой, — ему не надо. А раз не надо — зачем совать в лицо? Комплекс гордости сжимал ее душу в комок, пальцы — в кулак, до того, что болели косточки.

Однажды утром шла через переезд. Прогромыхла электричка. С рельсов поднялась собака и завывала как сирена. Вой всходил до неба. Артамонова остановилась. Что это? Если бы собака попала под поезд — погибла бы. Не выла. Значит, что? Поезд ее толкнул? Но поезд с его скоростью и массой и собака в двадцать килограмм... Сюда даже слово «толкнул» не подходит. Тогда что? Может быть, испугал? Контузил?

Артамонова приехала в училище и рассказала Кирееву про поезд и собаку. Киреев пристально посмотрел на Артамонову, подозревая ее в аллегориях: дескать, Артамонова — собака, а поезд — неразделенная любовь. Он насмешливо произнес: «О-о-о...» — и покрутил ручкой, будто ввинчивал лампу.

Артамонову ошпарила догадка: знает. Издевается. Она сделала непроницаемое лицо и замолчала на весь день. Мысленно отобрала у Усмановой ключ от сундука любви и бросила его в мусорное ведро. Хотела пересесть от Киреева, но это было бы нарочито. Артамонова решила: внешне все останется по-старому, а внутренние перемещения, как учила Усманова, никого не касаются. Артамонова передвинула все козыри в одну сторону, бросовую карту — в другую. Бросовая карта — это Киреев. А козыри — музыка. Артамонова со злости написала песню. Песня получилась, как ни странно, жизнеутверждающая, типа: «Надоело говорить и спорить и любить усталые глаза...»

Наступила зима. Выпал снег. Стало теплее, не так ветрено. Снег как будто прижал ветер к земле.

Однажды вечером Артамонова сидела дома в одиночестве. Мама была на ночном дежурстве. Ее наняли за деньги к умирающей старушке. Артамонова листала сборник-развалюшку. Попались такие слова: «Не могу без тебя столько долгих дней...»

Стихи писала женщина. Талантливая. У нее были те же дела, что и у Артамоновой. Значит, живет на свете неразделенная любовь.

Артамонова вдруг пала духом: не могу без тебя столько долгих дней. Раздался звонок в дверь.

Артамонова открыла и увидела Киреева. Он стоял неестественно серьезный, даже торжественный. Молчал. Артамонова ждала.

— У тебя есть фолкники? — наконец спросил Киреев.

— Нет, — удивилась Артамонова. — Откуда они у меня...

Фолкники соединили рок с фольклором. Артамонова была равнодушна к этому направлению.

— А «Детский альбом» у тебя есть?

— Есть, наверное. А зачем тебе?

— Я хочу разломать ритм. Сделать другую аранжировку. Современную.

— Зачем ломать ритм у Чайковского? Ломай у Прокофьева, — посоветовала Артамонова.

Киреев молчал неестественно долго, потом глубоко вздохнул, как бык в стойле.

— Сейчас?

Он кивнул, глубоко нырнув головой.

— Ну проходи.

Киреев прошел, остановился посреди прихожей. Артамонова стала соображать, где может находиться «Детский альбом» Чайковского. Она играла его во втором классе музыкальной школы, стало быть, двенадцать лет назад. Выкинула? Не может быть. Ноты и книги не выкидывают. Значит, на антресолях.

Артамонова взяла табуретку и полезла на антресоли. Она барахтала поднятыми руками, пыталась выгрести нужное из бумажных волн. Ее тело вытянуто, напряжено. Колени находились на уровне глаз пьяного Киреева. Он вдруг молча обхватил колени, снял Артамонову со стула и понес в спальную комнату. Артамонова так растерялась, что у нее замкнуло речь. Не могла сказать ни слова. Он понес ее как ребенка. Артамонова плыла в его руках. В голове сшибалось противоречивое: «да?» или «нет?».

ДА. Ведь она любит его. Безумно. И давно. И вот случай...

Но он молчал. И вообще, пьяный. Соображает ли, что делает? А она будет терять невинность — так неинтересно. НЕТ.

А с другой стороны, надо же когда-то расставаться с этой невинностью. Все подружки распрощались в школе. А она до сих пор... стыдно сказать... Но почему он молчит?..

Пока Артамонова металась мыслями, он положил ее на кровать, и дальше было то, что было. И совсем не так, как мечталось. Больше всего запомнилось два шуршащих звука от пластмассовой молнии на брюках: один раз сверху вниз, когда расстегивал. Другой раз — снизу вверх, когда застегивал. Разница между этими шорохами — минут десять, а может, пять. Киреев поднялся. Одернул куртку — он не снял ее у вешалки — и ушел с тем же молчаливым достоинством, что и появился. А она провожала его с тем же недоумением, что и встретила.

На другой день Артамонова взяла ему, как прежде, сосиску и кофе. Киреев ел, глядя в пространство. Проваливался в свое, отсутствовал по привычке.

«Не помнит, — поняла Артамонова. — Может, спросить? А как спросить?»

«Ты помнишь?» Он скажет: «Что?» И тогда — как ему объяснить, что было между ними? Какие для этого бывают слова? Может быть, так: «Ты помнишь, как ты меня любил?» Он скажет: «А я не любил».

Артамонова не стала ничего спрашивать.

Началась практика в музыкальной школе. Она вела музыкальную литературу. Играла детям «Детский альбом», благо ноты были найдены. Киреев их тогда забыл.

Иногда играла свои песни. Дети думали, что это тоже Чайковский.

Через две недели Артамонова заметила странное: не может чистить зубы. От зубной щетки начинает выворачивать и холодный обруч стягивает лоб.

Районный врач спросила, будет ли она рожать.

— Не знаю, — потерянно сказала Артамонова.

— Думайте, но недолго, — посоветовала врач. — Самое лучшее время для прерывания — восемь-девять недель.

У Артамоновой было две недели на раздумье.

СКАЗАТЬ — НЕ СКАЗАТЬ...

Киреев может не вспомнить, ведь он был пьяный. И тогда он решит, что она врет, шантажирует, или как там это называется...

Предположим, помнит. Поверит. Но что с того? Менять свою жизнь он не намерен, значит, ребенок ему не нужен. А она, если хочет, пусть родит себе сына, как Дева Мария от непорочного зачатия. В конце концов — это ее дело. Ее живот. Но как будет расти этот бедный мальчик, — Артамонова почему-то была уверена: мальчик. Маленький Киреев. У всех есть папы. А у него нет. Только мама и бабушка. Бедная сорокадвухлетняя бабушка с нежным именем Оля. Муж бросил Олю беременной, на пятом месяце. Не выдержал бытовых и материальных трудностей. Захотел удобств и красоты. Будущей дочке и жене он оставил только фамилию.

Артамонова родилась раньше времени, неполных семи месяцев. Еле выходили. Потом к ней стали липнуть все болезни. Еле отбили. Наконец выросла, поступила в училище, скоро начнет сама зарабатывать, помогать маме. Вот тут бы Оле расслабиться, отдохнуть от уколов и ночных дежурств, может, даже выйти замуж, пожить для себя. Так нет — опять все сначала. Маленький Киреев не получит даже фамилии. Он будет Артамонов. Оля не откажется от внука, да еще безотцовщины. Будет любить еще острее, и страдать за дочь, и стесняться перед соседями. Сейчас, конечно, другое время. Никто заборы дегтем не мажет, но... Что за семейная традиция: маму бросили в законном браке, дочку бросили, не успев приобрести... Зачем Оле такие разъедающие страдания? Она вообще ничего не должна знать.

Усманова выслушала новость, и ее узкие глаза стали круглыми.

— Ты что, с ума сошла? — серьезно поинтересовалась она. — Своему ребенку — ноги отрывать?

— Он еще не ребенок. Он эмбрион.

— Ты что, в Бога не веришь?

— А что делать? — не понимала Артамонова.

— Поговори с ним. Ты же не за себя просишь. А хочешь, я поговорю?

— Ни в коем случае! Я сама...

Был день стипендии. Артамонова пришла в училище. Возле кассы она напоролась на Киреева. Именно напоролась, как ногой на гвоздь. Киреев стоял и считал деньги.

«Сейчас скажу... спрошу... скажу...» — решила Артамонова, и в ней даже хрустнуло что-то от решимости. Но Киреев раскладывал день-

ги по кучкам, и она промолчала. И опять что-то хрустнуло от сломанного желания.

Киреев окончил расфасовку своих денег. Часть положил в карман, другую часть в бумажник. Поднял голову. В лице Артамоновой его что-то поразило. Он спросил:

— Что?

— Ничего, — сказала она.

— Хочешь, в кафе сходим? Я угощаю.

При мысли о еде тут же подкатила к горлу тошнота.

— Не хочю, — сказала Артамонова. И добавила: — Спасибо...

Операционная располагалась в большом, или, как говорили раньше, в большой, зале. Там стояло два стола, работали два хирурга, мужчина и женщина.

Перед тем как войти, Артамонова обернулась на дверь, ведущую в отделение. Она ждала: вбежит Киреев в пальто и шапке, молча, без слов схватит ее за руку, скажет одно слово: «Успел». И выдернет ее отсюда, и она заскользит за ним в тапках по гладкому кафелю, как по катку.

Киреев не знал, что с ней и где она, и поэтому не мог здесь появиться. Но вдруг Усманова не послушалась и провела с ним беседу и назвала адрес больницы?..

Из зала вывезли каталку с бескровным телом, мотающейся головой. Следующая очередь была ее. Она в последний раз оглянулась на дверь. Сейчас вбежит: запыхавшийся, испуганный, встревоженный. Скажет: «Ну разве можно так обращаться со своей жизнью?»

Артамонова вошла в операционную.

Левый крайний стол был ее. Хирург стоял, закатав рукава.

На нем был клеенчатый фартук, забрызганный кровью. На соседнем столе, как в гестапо, кричала женщина.

Артамонова подошла к хирургу. У него было доброе крестьянское лицо. Артамонова доверилась лицу и спросила:

— Может, не надо?

Он посмотрел на нее с удивлением и сказал:

— Но вы же сюда сами пришли. Вас же не привели.

«В самом деле, — подумала Артамонова. — Раз уж пришла».

Она взобралась на стол. Ей стали привязывать ноги. Тогда еще не было внутривенного наркоза, когда женщина отключается от действительности. Тогда все происходило при здравом уме и трезвой памяти.

Тонкая игла боли вошла в мозг. Потом стала нарастать, как шквал, по ногам потекла кровь, и слышались звуки, похожие на клацанье ножниц. Артамонова поняла: из нее безвозвратно выстригают маленького Киреева — беспомощного и бесправного. Клацали ножницы, летели руки, ноги, голова... Артамонова закричала так страшно, что этот крик, казалось, сметет и столы, и хирургов.

К вечеру за ней пришла Усманова. От мамы все держалось в тайне. Надо было вечером вернуться домой, как бы из консерватории. С концерта пианиста Малинина.

Они шли по вечерней улице. Был гололед. И казалось, что земной шар ненадежно прикреплен к земной оси.

Артамонова вошла в дом и сразу легла в кровать. Мама ни о чем не подозревала, готовила еду на завтрашний день. Мыла посуду и пела.

Артамонова лежала в постели, подложив под себя полотенце. Плакала. Из глаз текли слезы, а из тела кровь. Кровь и слезы были одной температуры: тридцать шесть и шесть. И ей казалось, что из глаз течет кровь, а оттуда слезы. И это в каком-то смысле была правда.

Две недели Артамонова не ходила в училище. Не хотела. И не отвечала на телефонные звонки. На душу спустилось то ли возмездие, то ли равнодушие. Казалось: объявят по радио атомную войну — Артамонова не встанет с места.

Целыми днями сидела за роялем, тыркала в клавиши. Получилась детская песенка, как ни странно — оптимистическая. Артамонова выживала, поэтому музыка была жизнеутверждающая. Грустное пишут относительно счастливые люди. У них есть силы на грусть.

Первого апреля у Артамоновой — день рождения. Двадцать лет. Круглая дата. Пришел курс. И Киреев пришел и подарил глиняную статуэтку верблюда. Сказал, что искал козла, но не нашел.

Артамонова удивилась: помнит. Ей казалось: всего, что связано с ней, не существует в его сознании.

Верблюд смешной, как будто сделанный ребенком. На его глиняном бежевом боку Киреев написал толстым фломастером: АРТАМОШКЕ. Надпись была сделана не сплошной линией, а точечной. Одна точка под другой. Артамонова поставила верблюда возле козла.

В тот день группа гуляла на всю катушку. Подвыпивший Гена Кокорев принялся ухаживать за мамой. Маме было смешно, но приятно: раз ухаживают дети, значит, есть перспектива на ровесников.

В тот день было много водки, много еды, много молодости и музыки. Киреев плясал вместе со всеми, топоча ногами. Артамоновой казалось: он что-то втаптывает в землю. Она смотрела на него пустым взором. После того как пропал ребенок — результат ее любви, — сама любовь как бы потеряла смысл.

Кончилось тем, что все пели на много голосов. Музыканты — люди меченые, не могут без музыки. Они — как земноводные: могут и на суше. Но в воде лучше.

Разошлись за полночь. Смех, музыка, ощущение беспричинного счастья — повисли на стенах. Этим можно было дышать.

И остался глиняный верблюд рядом с козлом. Козел большой. Верблюд маленький. Они стояли рядом десять лет. До следующей круглой даты.

Следующая круглая дата — тридцать. Главные, определяющие события в жизни происходят именно в этом промежутке: от двадцати до тридцати. Потом начинаются повторения.

Артамонова окончила музыкальное училище. Поступила в Институт имени Гнесиных на дирижерско-хоровое отделение. После института стала вести хор во Дворце пионеров. В трудовой книжке значилось: хормейстер. Красивое слово. Дословно: мастер хора.

Артамонова любила детей плюс музыку и сумму этих слагаемых — поющих детей. Бежала на работу как на праздник. И дети обожали эту свою послешкольную жизнь. В хоре не было текучки.

Репертуар — классический и современный. И несколько песен — авторские. Главное — чистое звучание. Тренировала вторые голоса так, что терции резали воздух. В результате труда и терпения хор вышел на первое место в городе. Его записали на радио. Радио слушают все. Песню услышали. Ее включил в репертуар популярный певец, выдержанный внешне и внутренне в духе соцреализма. Артамонова называла его «поющая табуретка». От «табуретки» песня перешла к молодой ломаной певице. Она так надрывалась: «...не добычею, не наградою...» — будто песня была лично про нее.

Артамонова первый раз услышала «Павлиний крик» на пляже в Прибалтике. Рядом с ней сидел Люсин сын, Сержик, который пришел к тому времени из армии. Сержик крутил транзисторный приемник, из него выплеснулся «Павлиний крик». Артамонова так поразилась и еще что-то так... что не выдержала, поднялась с песка и пошла по пляжу. Потом побежала. Если бы осталась сидеть возле Сержика — взорвалась бы до смерти от распирающего грудь счастья. Надо было растряссти это счастье, не оставлять в себе в таких жиз-

ненно опасных количествах. Артамонова бежала, могла обежать все море, вплоть до Швеции, но все иссякает, и заряд счастья в том числе. Вечером ее бил озноб. Оказывается, счастье тоже выматывает. В эту ночь, перед тем как заснуть, подумала: «Спасибо, Киреев».

Кстати, о Кирееве. Он ушел с третьего курса института и где-то затерялся на жизненных дорогах. Говорили, что играет в ВИА (вокально-инструментальном ансамбле). Но ансамбль зажимали. Тогда всё зажимали. Руководящие товарищи воровали и зажимали, не допускали свободомыслия, чтобы удобнее было воровать. Хочешь свободы мысли — пожалуйста. Но это не оплачивается. Платили только за верную службу.

Артамонова не знала, но могла догадаться: Руфина тяготилась нищетой, а Киреев чувствовал себя виноватым.

В этот же период — с двадцати до тридцати, ближе к тридцати, — Артамонова вышла замуж за Сержика. Это случилось сразу после Прибалтики. Когда Сержик надел ей в загсе кольцо, Артамонова почему-то подумала: «Доигрался». Это относилось не к Сержику, а к Кирееву. И стало чего-то жаль.

Сержик был порядочный и нудный, как все порядочные люди. Зато можно было быть уверенной за свой завтрашний день.

Такой любви, как к Кирееву, не было, но она и не хотела ТАКОЙ. От ТАКОЙ — хорошо умирать, а жить надо в спокойных жизнеспособных температурах.

За прошедшие десять лет Сержик вернулся из армии, окончил Институт иностранных языков, стал синхронным переводчиком. Артамонова была его второй женой. До нее он успел жениться и развестись. Его предыдущая жена в отличие от Артамоновой была хорошенькая, похожая на всех артисток сразу. Но нервная. Когда ей что-то не нравилось в Сержике, она снимала с его лица очки и грохала о землю. Очки разбивались. Это было ужасно. Сержик тут же переставал хоть что-нибудь видеть. Но это не все. Главное то, что хорошие очки не достать, за границей они очень дороги, и Люся выворачивалась, как перчатка, чтобы ее мальчик носил фирменные очки. А она — оземь. Это уже хулиганство.

Сержик был милый, правда, много ел. У Артамоновой исчезла проблема: сказать — не сказать, спросить — не спросить... Она говорила и спрашивала, а чаще вообще не спрашивала, делала все по своему усмотрению. А Сержик только кивал и ел.

Артамонова догадалась. Любовь — власть. Всякая власть парализует. А отсутствие любви — свобода. Как хочешь, так и перемещаешься. Хорошо без любви.